

Григорий
Певзнер

На исходе зрелости

СТИХИ



Григорий Певзнер

НА ИСХОДЕ ЗРЕЛОСТИ

Стихи



Мюнхен 2026

Григорий Певзнер

На исходе зрелости: Стихи 2016–2018

Мюнхен, 2026. — 132 с., илл.

Художник *Евгений Вишневский*

Составитель *Ольга Сазончик*

Корректура и верстка *Сони Кобринской*

Фото на обложке *Лины Певзнер*

Первое издание этой книжки вышло в 2025 году в израильском издательстве «Книга Сефер» — и моментально разошлось. Перед читателем ее обновленная версия. Ну а впереди — сборники стихов Григория Певзнера последующих годов.

Отпечатано в типографии WIRmachenDRUCK GmbH
www.wir-machen-druck.de

© Григорий Певзнер, 2025

КНИГА ДОРОГ



* * *

Задумаюсь и осекусь.
Кто я, чтоб мять слова и глину
и разделять, что неделимо:
что запах есть? что цвет? что вкус?
А свет, зажатый в кулаке, —
им разве можно поделиться?
Сон тает. Жаворонок длится.
Иду по жизни налегке.

* * *

Исак — как танк. Даже Бог не любит с ним спорить.
В сорок первом он приписал себе год и ушел на фронт,
так что у фрицев не было шансов.
Войну оттрубил от корки до корки,
но съездил по морде пацану-лейтенанту.
Ясное дело, за дело, но дело шло к трибуналу.
Ему дали сбежать. Ордена и медали его не догнали.

Исак не любитель полутонов. Прощать он умеет плохо.
Зато если любит, то по полной и навсегда.
Жену свою он избрал еще в школе —
альтернативы как бы и не рассматривались.
Когда супруги привычно бранились,
смущенно краснели биндюжники,
но отношения к делу эта деталь не имеет.

Антисемит-сосед, оскорбивший жену
и огревший ее сковородкой,
получил два коротких удара —
чему, ясное дело, суд не поверил:
двойной перелом челюсти и на весь живот гематома.
Докторам пришлось потрудиться.
Дело не без труда замяли.

Много позже в Израиле смерть,
приходя за женой, пару раз нарывалась на Исака
и отползала залечивать раны.
Когда она все же взяла свое, Исак сделал на столике
подобие алтаря с портретом —
жена по-прежнему рядом.

Исак — конструктор от Бога. И головой, и руками
может все. Только вот языки не по его части.

Он и не заморачивается. Шестидесятишестилетним
он приехал в Израиль и пришел на заводик.
У хозяина были польские корни — объяснились на пальцах,
и Исак начал чернорабочим.

Потом пришли станки с ЧПУ — потребовалась реконструкция.
Исак молча сделал все чертежи, а затем и все остальное.
После чего встал к станку и начал работать.
Дочь его, пришедшая за отцом следом,
теперь, по сути, руководит фирмой,
а Исак в свои девяносто два
несколько раз в неделю приходит и делает что нужно.
Хозяин давно предоставил ему карт-бланш.

В последнее время Исак не бегаёт марафон:
доктора намудрили с таблетками — упало давление,
Исак тоже упал, разбил ухо и маётся головокружениями.
При последней встрече он пожаловался (впервые!)
на колени и показал, как борется:
стоя на одной ноге, задрал другую и начал ее выламывать.

Недавно Исак решил устроить личную жизнь внучки друзей,
которую любит с природным максимализмом.
У внучки есть на сей счет, правда, собственное мнение,
но дискутировать с принявшим решение танком?..
К счастью, выбранный кандидат оказался занят,
но Исак, наверно, что-то придумает.

При разговоре по телефону Исак сообщил,
что изобрел потрясающее блюдо.
Какое — не скажет. Я должен лететь в Израиль и пробовать.
Потом, если буду себя хорошо вести, он и меня научит.
В этом же разговоре он заявил,
что пришла пора освоить компьютер.
Он прекрасен, Исаак.

* * *

Педадь кручу, под гору мчу. Дорога не прямая,
у остановки тормознув, бросаю вправо взгляд:
пунцовый рот, прически смоль — на остановке Майя.
Помада, краска для волос и им под цвет наряд.

А за плечами юг и Буг, потемкинские верфи,
работа, дети, дефицит и муж Наум — орел.
На ум был не силен Наум, но честен, добр и верен,
а в эмиграции раскис, расклеился, ушел.

Она его, как на завод, в могилу проводила
и немца местного нашла, чтоб не сойти с ума.
Безукоризненно блестит Наумова могила,
и немец Майин весь блестит, ухоженный весьма.

Конечно, не раскрутишь вспять наш сумасшедший глобус,
и сколько стрелки ни крути, не двинешь время вспять.
Но Майя губы навела, и втиснулась в автобус,
и выглядит на восемьдесят в восемьдесят пять.

* * *

Штакетники моего детства
пустили побеги и корни,
умерли, дали плоды,
в бескислородных глубинах
спрессованной памяти,
под пластами времени
превратились в уголь.
Я его добываю,
бросаю в топку,
он дает энергию,
а они не сгорают,
стоят себе в памяти.
Скамейки моего детства
зеленеют и всё еще пахнут
облупившейся краской.
Ее слабый, но едкий запах
сливается с сильным и вкусным
первосентябрьским запахом
молодых парт.
За штакетниками моего детства
растут те же астры,
над ними носятся те же часики*.
За партами моего детства
по-прежнему сижу я:
портфель, сменная обувь,
все время в разных классах,
но все время в начальной школе.

* Часиками в некоторых регионах Украины
называют мух-журчалок.

* * *

Меж горами и трассой, будто в яме,
под дождем городок. Птицы смолкли.
Альпы — пожилые крестьяне —
столпились, насупились — смотрят

в сторону озера поверх городка, поверх трассы,
из-за которой город колокольню выставил
перископом для рассматривания приезжей расы —
пациентов, туристов.

Полосой нейтральной в отдалении
вокруг озера ковыляю,
ритмично постукивая без лени
костылями

по дорожке. Справа и слева
вода — хлебей запас излился.
Позавчера было лето,
вчера сентябрь спохватился.

Луга. Поля. Иногда участки
лесопосадки. А в промежутке
слева цапли, справа чайки,
справа косули, слева утки.

Река. Мост. Табличка. Извивается нечто —
угорь, оказывается, не дурак, толк в жизни знает:
икру, положим, в Саргассовом море мечет,
но жить в Европе все же предпочитает.

У моста амбар. Выглядит странно:
с одной стороны вверх под карнизом
древние полавки для катамарана,
бурая паутина сотнями гамаков снизу.

Обхожу со смесью любопытства и страха.
Водостоки-драконы изрыгают не пламя, а воду.
Надпись *Privat*, значки *Videoüberwachung** —
хорошо хоть скамейка с обратной стороны от входа.

Дождь усиливается. Ситуация проясняется:
скоро всплывут полавки со стеною,
а значит и с домом; потоп, видимо, начинается —
Бог все приготовил для местного Ноя.

* *Videoüberwachung* (нем.) — видеонаблюдение.

* * *

Обрывки сна... Обрывки судеб...
Неисправимы и не плохи,
как в пробкой заткнутом сосуде,
мы все барахтались в эпохе

не лучшей и в стране недоброй,
не худшей — всё ведь вполнакала.
Она хоть била нас по ребрам —
перо под ребра не втыкала.

Ее утехам и потехам
я был чужим, я вырывался.
Сорвало пробку, я уехал.
А получается — остался.

* * *

На исходе осени,
на подходе вечера
топаем по просеке,
пялимся доверчиво.

Сыплет птица-сплетница,
день сгорает заживо.
Лиственница светится
бронзово-оранжево.

Перьями с таксодиев
хвоя разноцветная.
Явно не Кустодиев.
Левитан, наверное.

Вся добыча зрения
набирает сладости
на исходе зрелости,
на подходе старости.

* * *

Мне снилась дорога, ее разветвление,
булыжника бег.

Воздевшие черные руки деревья
в покорной мольбе

в преддверье потемок на фоне заката
под редкое «кар».

Но это потом, а сначала за кадром
сменявшийся кадр,

где бабушка с дедом пришли, вот те нате,
без лет и без квот.

Они как бы были в пансионате,
вернулись — и вот

меня они то ли немного моложе,
то ль старше слегка.

Они на себя даже малость похожи,
но поступь легка.

Где дальше больница, палата седьмая,
народ, суета.

И бабушка — только, как я понимаю,
другая, не та.

А дальше подвал, я мечусь бесполезно,
а дальше провал.

А дальше седьмая палата исчезла,
а я прозевал.

Шестая, восьмая — а где же седьмая?
Как быть? Что стряслось?

Стою перед пятой и вдруг понимаю,
что надо насквозь.

Иду, и конца нет тягучему бреду,
и я утомлен.

И вдруг понимаю, что я уже еду,
что я за рулем.

И эта дорога, ее безнадега,
булыжник блестит.

И странная мысль, что потерпим немного —
и кто-то простит.

А солнце все ниже, а слезы все ближе,
но все же светло.

Я еду все дальше, и мокрый булыжник,
и дождь на стекло.

И осыпь, и осень — глухая, немая.

Я плачу во сне.

И плачу, проснувшись. И не понимаю,
о чем это мне.

* * *

А помнишь павлопольский лес?
Троллейбусом доехал, слез,
к опушке подошел поближе,
зубами варежки стянул,
с размаху палки в снег воткнул
и стать пытаешься на лыжи.

Ремни попробуй застегни!
Крепленья детские — они
не полужесткие, а нечто.
Но вот лыжня, и ты на ней,
и ломкий воздух все вкусней,
и щеки все красней, конечно.

Мороз и солнце, день чуде...
Снег роздан кленам. Кое-где
дубы свое скопить успели.
Ни тормозить, ни на бегу
свернуть еще я не могу —
зато по ровному могу,
зато по ровному бегу,
зато ползущих еле-еле
я догоняю и порой
их обгоняю, как герой!

И наплевать, что маху дал —
со смазкой вновь не угадал
и липнет к лыжам снег нещадно, —
раз лес под козырек берет.

Он рад, ты рад. Идешь вперед.
Ты наслаждаешься — и ладно.
Сосульки на бровях висят,
и почему-то мысли о лосях.

Ты нагуляешься в лесу,
а дома бабушка и суп,
и кролик, жаренный в яйце,
и каша, и компот в конце...

Порой зимою в суете
я возвращаюсь в этот день,
понятно, сложенный из многих.
В бесснежный лес вчера залез —
и вдруг запах лосями лес,
и по лыжне заныли ноги.

* * *

О, сей знакомый беззаконный
бездонный воздух законный,
размашистый вагонный бег!
Зима, крестьянин, снег не чуя,
гоняет трактор, памятуя,
что скоро все же будет снег.

Склон, лес, смиренное кладбище,
растенья, тени, корневища,
ветвей рыжеющая прядь.
Косуля топчется под елкой,
и проводница с рыжей челкой
идет билеты проверять.

* * *

Все вроде сказано — дела-то давние.
Все, что требовалось для понимания.
Маленький еврей из Майданека
обитает в Германии.

Он до подбородка мне, маленькому.
Все вроде сказано, все искуплено.
Маленький еврей ковыляет по Марбургу,
шаркает здоровенными туфлями.

Маленькая жена его с мужем ладила,
мало разговаривала, однако.
Она была из другого концлагеря
и умерла от маленького рака.

Много лет маленькому еврею,
маленькому еврею под девяносто.
Он приехал старым и дальше стареет,
добраться до кладбища ему непросто.

Марбург маленький, всё, считай, рядом,
но на кладбище — с пересадкой — он не ездит почти.
Маленький сын их с потусторонним взглядом
молчит сквозь большие очки.

Он похож на мать, и, похоже, не получается у рта его улыбкою растянуться.
А маленький еврей изредка улыбается — изредка почему бы не улыбнуться?

Социальный район иногда называют гетто.
Маленький еврей не знает про это,
 живет себе и не помнит зла,
шаркает со своей сумкой, а если лето,
с русскими немцами забивает козла.

* * *

Зарево оседает куда-то за реку,
облака отплывают куда-то вбок.
Идут по облаку рука об руку
маленький человек и большой Бог.

Облако как бы и не совсем облако,
рука как бы и не совсем рука.
Но река — очень даже река,
и по реке в разные стороны
плывут кораблики.

Человек новенький и немного растерянный.
Бог останавливается на облаке,
протягивает человеку трубу и говорит: «Труби!»
«Не могу». — «Почему?» — «У меня нет слуха,
я не умею». Бог отмахивается, хохотнув глухо:
что ты, мол, дорогой, мелешь!
Умеешь! Все ты теперь умеешь.
И пожалуйста, не груби.

Человек трубит. К реке на склон
выходит слон
и тоже трубит в ответ.
Бог прикручивает в небе свет
и, включив на мачтах по всей реке фонарики,
подсвечивает кораблики.

У одного шлюпка отваливает от борта.
Бог, облачко отодвинув ногой,
говорит человеку:
«Это отныне твоя работа:
включать и выключать эту реку.
Как-то так, дорогой».

* * *

В школу — с полотенцем через плечо, не взяв портфель (или это был ранец?), забыть в раздевалке куртку и что-то еще, — да уж, тот еще был засранец!

После школы пытаться опасных встреч избежать,
маму ждать, съезжая мыслями со страницы.
Страдать, когда мама уедет сестру рожать
и когда будет потом лежать с аппендицитом в больнице.

Когда мама дома, звонить условным звонком:
два коротких — длинный, пауза — и снова по полной.
Это был наш знак, только нам знаком.
Правда, мама его не помнит.

На углу Петровского и Дзержинского колбасу добывать
и прямо за дверью с нетерпением зверским
завернутое разворачивать и жевать
вместе с мамой довески.

А теперь мы старые — мама и я.
Детство не кончилось,
 просто как-то сдали принц и принцесса.
К маме я тащу через боль, эту боль тая,
сто килограммов полуживого веса.

Нет-нет, я не жалею — ни боже мой!
Я доволен жизни второй половиной.
Просто порою хочется вернуться домой:
два коротких — длинный, два коротких — длинный...

* * *

...А случались деньги — скажем, на Финляндском
шницель и сто пятьдесят к нему на рыло.
И судьба к тебе выказывала ласку —
как не в долг давала вроде, а дарила.

Позаброшено, хоть и не позабыто
где попало как попало ночеванье,
по ухабам неухоженного быта
без гитары и с гитарой кочеванье.

И дискуссии классического рода,
поздней утренней кончавшиеся ранью.
И лихая, но умеренная фронда —
вплоть до грани, но ни разу не за гранью.

И газеты, ясно, только на подтирку,
и уверенность в умение правду видеть.
Но с «Сайгоном» столько лет почти впритирку,
а, увы, лишь забеганье кофе выпить.

Эти руки, губы, волосы и платья,
рядом с ними говоренье и хождение.
Непрерывное желание объятья
и объекта для него ненахождение.

Неприкаянность и мысли враслопырку,
белоночье на Неве и в Харьков рейсы.
И, конечно, Мандельштам через копирку,
ветром брошенный на Витебском на рельсы

в лужу жадную. И в Кавголово лыжи,
на морозе покрасневшиеся рожи.
Чай, собака, Пастернак казались ближе,
а в итоге Мандельштам теперь дороже.

Удалось пока что гнуться, не загнуться,
оглянуться можно тихо и нестрого.
И не так уж сложно взглядом дотянуться:
сорок лет всего — не так-то уж и много.

* * *

Как на зубах крошки, но только суше,
хрустит под ногами песок.
А иногда — не на берегу, а много выше на суше,
на песчаных холмах, — он поет, и голос его высок.

Спускаешься, как на велосипеде,
педали песчаные загребая.
Над головой солнце из латуни, а не из меди.
Небесная синь даже не голубая,

а выбеленная, как выбелены бывают ткани,
выцветшие от солнца и насквозь просоленные.
Ящерица застыла, словно она из камня.
Деталей мало, но все особенные.

Все неподвижно — и будто на волоске:
взгляд вгрызается жадно, но не успевает насытиться.
Мгновение — и ящерица исчезает в песке.
Ее уже нет, но видно, как время сквозь дырочку сыплется.

СЕМЕН ЛИПКИН

Себя к работе приохотив,
он пел без сбоя.
Он жил не за. Он жил не против.
Он был собою.

Не тяготясь своей судьбою,
привычный к боли,
в «Метрополе» он был собою
и в гуще боя.

Он помнил о необходимом.
Он знал о главном.
Большой войне взглянул один он
в глаза на равных.

Он помнил о своем уставе —
простом и строгом.
Он кесаря на место ставил,
а спорил с Богом,

но ладил с Богом, не вникая,
чей к Богу соус,
и жил, иконами считая
лишь долг и совесть.

С Назоном он болтал по-братски,
без правил светских,
и ближе был ему аккадский,
чем постсоветский.

Ему смотреть хватало роста,
хоть век безумел.
Он прожил больше девяноста,
упал и умер.

* * *

Будто еще до брода, до родов, до ерунды:
облачная дорога, обморочность воды,

белые теплоходы, белые буруны...
Двигаться неохота. Двигатели ровны.

Солнце вполоборота, сна и яви края.
В тени от самолета капелька тени — я.

Возят барышни брашна, можно выпить пивка.
Хорошо и нестрашно... Может, странно слегка.

Может, попросту века не приросший привой,
я не вижу ответа, как я здесь — и живой?

У окна замирая, озираюсь за край:
будет изгнан из рая затесавшийся в рай?

В ненадежной жестянке я, во власти небес.
Рад воздушной болтанке, возвращающей вес.

Рад салфетке в кармане, как письму от родни,
и короткой команде: «Пристегните ремни!»

* * *

Дождлся. Дожил. Под дожди,
под сырость верить перестал и
лишь кашлял с сыростью в груди:
«Здесь нет зимы». А вот поди!
Ушли дожди, восторг в груди,
езде, куда ни погляди,
недолговечные кристаллы.
Светло, бело, в душе ура,
и даже минус семь с утра.

Калины брызги на холсте.
Азартно снегом похрустев,
я сбрасываю, что надето.
Лоб ломит, но каков маршрут!
Над головою в высоте
пичуги радостно орут,
как будто не мороз, а лето.
Мыш пробежал, на нас взглянул,
в снег занырнул — и утонул.

Я провожаю до работы
жену. Искрятся деревца.
Жена, продрогнув до конца
(да и работать должен кто-то),
идет уныло в помещение.
А я дрожу от восхищенья,
алею мордою лица
и, переполненный зимой,
не торопясь иду домой.

* * *

А как там в Харькове сейчас?
Мы осень вброд переходили!
В хотя полуторамильонном
почти что городе, но в новостройках,
я шел до школы через поле
пустое — можно было обойти,
но кто ж пойдет в обход! По пах
в грязи я приходил, а там на входе
в халатах синих и суровых
встречали, над тобой нависнув,
технички злобные и проверяли смену.
Куда там аэропортам
теперешним с их персоналом
и всеми рамками! Насквозь
толпу ломящихся клопов буравя взглядом,
они вылавливали недостойных
и не пускали в школьный храм.
Такой вот эртертейнмент по утрам!

А здесь в Германиии дожди
сочатся часто и прилежно
всю осень, зиму и весну,
но как сквозь землю,
а точнее, сквозь землю,
сквозь неиспортившуюся ливневку
уходят. Грязи не бывает.
Зато нет скользанок зимой,
поскольку и морозы редки,
и если даже приморозит,
любой ледок посыплют солью —

как будто памяти на раны
соль сыплют —
нам без скользанок обидно!
И в небе солнышка не видно...
Тоска, сказал бы, но однако
комфортная и чистая тоска.

* * *

Как глядит в напряжении старый султан на жен,
как их гладит, прислушиваясь к себе: есть ли шансы,
как искатель жемчуга раздвигает жемчужнице створки ножом,
толком не успев еще отдышаться,

как делает первый глоток развязавший подшитый алкаш,
как втягивает воздух астматик, судорожно сжав ингалятор,
как отчаянно бросается на abordаж
старый больной пират с горсткой старых больных пиратов,

как старик сбежавшего фокстерьера манит,
как сердечник за нитроглицерином
руку тянет, как курильщик нервно на трапе шарит в кармане,
когда перелет был невыносимо длинным,

как ребенок бросает деньги и ждет счастливый билет,
так тянусь я за словом: «Еще одно, если можно!» —
в вечном страхе услышать: «Слов на вашем счету нет.
Больше вам не положено».

* * *

...И нарастет назгула вой
над головою.
И станут времени канвой
шаги конвоя.

Заставят выть, заставят врать,
отучат видеть.
И лишь надежду отобрать
едва ли выйдет.

В любую мерзлоту залезь,
в пустыни, в горы —
езде есть жизнь! А значит, есть
надежды споры!

Пусть вырвут все твои права,
что были прежде,
пусть выбьют зубы и слова
твоей надежде —

без слов и без зубов она
в пути тернистом
повсюду следом, как жена
за декабристом.

К петле, на крест, на эшафот
проводит тоже,
с тобой побудет и умрет
секундой позже.

* * *

Сначала ливень лил в экстазе,
вокруг лупило и текло.
Дышалось как в противогазе,
и сквозь машинное стекло

мы в двух шагах не различали,
взгляд от стекла не отводя,
ствол. Струи бились и стучали.
По окончании дождя

вороны кашляли, по капле
отхаркивая молоко.
По полю в молоке две цапли
вышагивали далеко —

у кромки поля и обмана,
у кромки сна, у кромки дня.
Поднялся призрак из тумана
и всматриваться стал в меня.

Без глаз был и без головы он,
но всматривался и дышал.
Он не посмел покинуть выгон,
вокруг которого бежал

по проволоке ток. Шатаясь,
маячил призрак предо мной.
Потом он всплыл и начал таять.
День таял за его спиной.

В тумане таяли коровы,
слегка ушами шевеля.
И на притихшие поля
легли вечерние покровы.

КНИГА БЫТИЯ И БЫТА



* * *

Эка строг человек!
Всяку нечисть с земли разогнал:
домовых и кикимор
и древних богов похотливых.
Даже Богу Единому место на небе одном —
на земле не положено!
Разве что изредка сына
от девицы родить,
да и то чтоб отправить на крест
(чтоб у нас выступала слеза).
Дальше храмы, в углу образа,
а других не положено мест.
Потому что все время глаза
Бог не должен мозолить.
А еще он обязан позволить
погрешить и грехи замолить.
...Не мешало б давно нас прихлопнуть.
Нам пока разрешают шалить.

Но терпение может и лопнуть.

* * *

Чужие и мир, и люд.
Чужой этот зла клубок.
Чужие слон и верблюды.
Чужой нам (пока что) Бог.

Ты к зеркалу подойди,
к открытым в себя вратам.
Ты в зеркало погляди —
конечно, чужой и там.

Чужие мыши в траве
и птицы над головой.
И лишь таракан в голове —
он свой, несомненно свой!

* * *

Жизнь то ползком в гору, то кувырком с горы.
Смерть совершает набеги и дань взимает.
Смерть навязывает условия игры.
Жизнь чертыхается, но принимает.

Жизнь, забравшись на любой сук, торопится сук рубить.
Смерть уже поджидает внизу, разумеется.
Жизнь из себя выходит, пытается смерть убить.
Смерть смеется. Точнее, посмеивается.

Треплет жизнь по щеке, говорит: «Держись!»
Смерть ведь жизни умнее,
она знает: если умрет жизнь,
смерть умрет вместе с нею.

* * *

У любящих власть есть свои резоны —
суть ведь в дороге к храму, а не в самом храме.
...Когда на морозе закладывали новую зону,
полураздетые зэки начинали с барачков охране,

всё себе обмораживали к черту,
когда удавалось — курили, когда удавалось — жевали.
Раздевали упавших, еще живых, но уже обреченных, —
пытались выжить, и некоторые выживали.

И многие выжившие по сей день довольны:
голому петля как шарфик, когда по нитке с миру.
Приятно, когда стоишь смирно —
и вдруг скамандуют «вольно»,
но надежнее все же, когда все стоят смирно.

* * *

Жил чувак со своею чувихой у самого синего счастья. Все корыта у них разбивались, и из трещин цветы всходили. Не какие-нибудь там розы, а ромашки и маргаритки, одуванчики, тысячелистник и мелкопестник канадский: сам чувак его рвал, бывало, и отвар варил от поноса и давал его разным детям — и чужим, и своим, конечно. В синем счастье ходили волны, и, забравшись в свое корыто и обнявшись, чувак с чувихой на волнах любили качаться. И чувак ловил неводом рифмы, а чувиха, попрыгав музой, сильной лупой вооружалась, извлекала пинцет и скальпель, ноги свешивала с корыта и в редактора превращалась. А корыто плыло по курсу. Им встречались большие годы — о такие легко разбиться, но корыто без повреждений их легко насквозь проходило: что-то было в нем от ледокола...

* * *

Живешь, осужденный на жизнь условно,
испытывая, как космонавт, перегрузки.
Думаете, это легко —
через игольное лезть ушко
и пытаться перевести дословно
внутренний зуд на русский?

* * *

Замирать от замерзших луж. Прыжками проворными
с первым снегом тотчас на улицу мчаться.
Просыпаться от звуков лопаты дворника
и испытывать от этих звуков счастье.

Ночи в очереди за елкой простаивать,
а потом домой волочить и нюхать, теряя разум.
В троллейбусе дырочку в замерзшем окне протаивать
и приклеиваться к этой дырочке глазом.

Окно украдкой открыть, высунуться, наклониться,
отломить сосульку: стоишь и, злые слезы глотая, лижешь.
(Самую снежную зиму я пролежал в больнице:
транспорт в Харькове буксовал, люди ходили на лыжах.)

Позже, студентом, ездить в Парголово на лыжную базу,
лыжи смазывать, потом километры на них нанизывать.
Трогать губами металл на морозе и сразу
с лопающейся губы кровь языком слизывать.

Если верить немцам, зима тут была,
каждый год на санках и на коньках гоняли —
морозы, заносы, всякие такие дела...
Сейчас последние розы увядают, но еще не увяли.

Впрочем, все одно к одному, ибо срок, ибо годы и тлен,
и сердце уже не способно от белого за окном сжаться.
В стране нет зимы, у меня нет колен —
все одно к одному, и не на что обижаться.

Свое ведь я получил. От первого снега тащился.
Да что там снег — иней увидев, мчался на улицу шало.
Тормозить на лыжах я, правда, так и не научился,
но кайф ловить это мне не мешало.

* * *

Мальчик на коленях у мамы качается,
взрослеет, но качание не кончается.
Как это у мальчика получается?

Гаснут звезды моей вселенной.
Вселенная остается,
но уже не совсем моя, и карта, похоже, бита.

Звезды новые рождаются неизменно,
но новым не удастся
стать моими: не та орбита.

* * *

Помню, слали злые вести,
жгли синоптики глаголом:
лет за сто, а то и двести
будет самый лютый холод.

Обещали злую зиму
и немыслимую стужу.
Я иду из магазина,
я глаза от солнца ужу.

Нет, конечно, были страсти,
много всяческих моментов —
от прихода где-то к власти
бесноватых президентов,

перестрелок и шахидов,
казней, взрывов и бомбежек
до отитов и бронхитов,
что противно, в общем, тоже.

Но мороз-то лишь развлекся —
он прогнозов, знать, не слышал.
А теперь весна и вовсе,
хоть февраль еще не вышел.

Он к концу стал просто нежным,
он показывает фокус:
тут подснежник, там подснежник,
слева крокус, справа крокус.

Солнце щедро греет землю,
отдает тепла излишек.
И сарыч на ветке дремлет —
так что праздник и у мышек.

* * *

Мечтать, плетясь домой с базара,
и планы строить, в отпуск мчась,
не зная, что случится завтра,
через минуту, через час...

Как тяжело под Божьей дланью —
ведь все уже предрешено.
Но, к счастью, нам для выживания
как дар неведение дано.

Палач занес топор над нами,
а мы смеемся и кутим.
И разве только временами
затылком холод ощутим.

* * *

Небо, видать, пропиталось под грозами —
повысыпали звезды на его ветках.
Крупные, зрелые, тут и там гроздьями,
а кругом видимо-невидимо еще мелких.

Подходишь к какой-нибудь луже поближе —
залежи звезд там, где поглубже.
Пес подбегает к луже и жадно лижет,
звездную падалицу вылавливая из лужи.

* * *

Когда жизнь была еще новенькая
и сидела на мне как с иголочки,
были крестики в ней, были нолики.
Я дотягивался до каждой полочки

в мире видимом, в мире выданном.
Я прощался легко, без сырости
с зубом выпавшим, с зубом вырванным —
есть, чай, время новому вырасти.

В мире вымечтанном, в мире вымышленном
все, казалось, секреты открылись мне.
Жала жизнь в паху и немного в крылышках,
впрочем, так и не ставших крыльями.

Задираю я задумчиво к небу лоб,
благо шеей вертеть и плечами мог.
Жаль, что Бога тогда еще в небе не было,
но не очень это печалило.

На табачный дым во дворе менял
вечера — не жалко было нисколечко.
Я то мчал, то прогуливался по времени,
а оно ползло себе потихонечку.

А теперь жизнь вновь у меня хорошая,
просто главы другие читаю в повести.
Ну и все же малость она поношенная,
да и жмет не в крылышках — где-то в поясе.

Мимо рта стекает надежда с усов моя,
и мед-пиво как-то почти повылились.
Я затычки ночью в уши засовываю,
чтобы сон через уши в ночи не вывалился.

Известшала память, увы, и в дырах вся,
жизнь заштопывается, жизнь застирывается.
И пластинка дальше-больше заигрывается.
Расставания репетируются.

Но зато уменьшились расстояния,
интернетов вокруг тут и там фейсбучатся.
И хоть дрянь мое тело и я не я,
прав был Сухов: стоит все же еще помучиться!

* * *

Как набухают небеса,
пока трава еще в слезах;
как сохнет робкая роса
под взглядом солнца на глазах;

как ветер носится, легко
рассвет вполнеба раскатав;
как утром слышно далеко,
когда проносится состав;

как пахнут липа и смола,
навоз коров, бензин людей;
как, раскалившись добела,
невыносимо ясен день;

как пахнут губы и глаза,
щека со слизанной слезой,
и налетевшая гроза,
и пыль, прибитая грозой;

как щедро плещут аромат
во тьму петунья и табак;
как розы спят, как туи спят,
как гаснет мак, густеет мрак, —

так свежескошенной травой
неумолимо пахнет смерть.
И для того ты и живой,
чтоб просто нюхать и смотреть.

* * *

*Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя...*

Осип Мандельштам

Какие претензии к миру,
коль я в нем несовершенен?
Какие претензии к Богу,
что несовершенен я?
Я шел регулярно мимо,
а шансы вокруг кишели.
Кивали мне на дорогу,
а я бурчал: «Не моя!»

Я праведничал для виду,
дотягивал минус до плюса, —
а шансы пока прокатили
и не прикатят опять.
Но сладко тянуть обиду
невыспавшуюся с блюдца
и горевать в конъюнктиве
с лицом, обращенным вспять.

* * *

Он плохо спит, зато немного.
Днем то клюет горбатым носом,
то мечется, подобно осам,
с собой, как правило, не в ногу.

Он крутит день, как белка в клетке
свой барабан, не видя смысла.
Он курит день, как сигарету,
и послекусье зло и кисло.

Он, сам себя перепевая,
бездарные слагает вирши...

Но, горстью мелочь доставая,
он улыбается кассирше.

* * *

Сперва расползлись в клочья облаков кучи
и высыпали многоточья над склоном и долом.
Но потом следом выползли из-за замка тучи,
приползли и зависли над нашим домом.

Рванул ветер, молния лётку
пробила с громом, будя все, что спало.
И хлынуло. А ветер сплел из дождя плетку,
схватил и что попало лупил как попало.

Потом в окнах полыхало, сияло
и так громыхало над головой,
что испуганный домовой
влез между нами под одеяло
и закутался с головой.

Всего было пере-. Не было никакого недо-.
Но потом тучи с молниями в сторону откатились,
гром покатился следом, в небе опустошились недра,
высь очистилась, и, где молнии попрыгали небо,
маленькие осколки в дырках светились.

И пока мы, зрители и свидетели,
любовались тем, как стало красиво,
домовой сбежал — так, что мы не заметили, —
ни до свиданья тебе, ни спасибо!

* * *

И от окна уже ни шагу:
на улице и во дворе
сквозь папиросную бумагу,
как иллюстрации Доре
в календаре от Дед Мороза,
свихнувшегося на Басё,
страдающего от склероза
и перепутавшего все...

К пяти часам, дождавшись часа
тишайшего, уснул и спал
мой город. Грузовик промчался,
проскреб, прогреб, промел, пропал,
плеснул оранжевым по стенам
предутренним, предвыходным,
и мгла захлопнулась за ним —
все вновь застыло, опустело.

И стало тихо и нестрого.
Пугливо снег, пока темно,
чуть сеялся, чуть руку трогал,
протянутую за окно, —
ей как бы что-то доверяли,
снег не для глаз был, а для рук.
Лишь конусы под фонарями
и лишь молчание вокруг.

* * *

Дни как бы летят. Время, если хотите, течет.
Вновь за тучи вернулась рождественская звезда.
В раю, говорят, карантин и переучет,
но ад принимает всегда.

В аду нынче даже день открытых дверей.
У дверей вертухай пса придерживает, зубы скаля:
«Че стоите, суки? Не ссыте! Будь ты хоть дважды еврей —
есть такой циркуляр, чтобы всех пропускали!»

За дверьми запах хлорки забивает трудноопределимый другой.
Бывший первоотделец всех входящих сканирует взглядом.
Над столом портрет Вельзевула.

На раме табличка «Наш Дорогой».
Так что для бывших «наших» ад сразу становится нашим адом.

Внутри, понятно, одиночки, общие камеры, карцер.
В общей шестерка варит для пахана знакомый напиток.
Чтобы излишне не расслабляться, не отвлекаться,
репродуктор всюду транслирует звуки из камеры пыток.

Передач, ясное дело, нет. Но есть все равно почему-то общак
из разного непонятно где и неясно как собранного.
То есть все не так уж страшно, ребята, жить можно, ништяк!
Ад себе, в общем, как ад — ничего особенного.

* * *

Весна разлилась и стала бескрайнею,
свет сгущается, льется, его возвращает река.
Баран, не желая превращаться в баранину,
еще отчаянней рвется из рук мясника.

Перекличка пасхальных птичьих хоралов.
Бог между мацою и куличом
мерит разность потенциалов.
Мяснику ощущать себя палачом

западло, и пока он колеблется, медлит слегка,
эта проруха весенняя одолевает старуху:
мясник ухмыляется, опускает уже занесенную руку
и отпускает барана, дав напутственного пинка.

* * *

Те обласканы, те обысканы,
те лукавые, те бестолковые.
Василисы живут с василисками,
лишь отводят глаза васильковые.

И плодятся птенцы голенастые,
и дивится Господь из-за облака:
до чего не похожи на аспидов
василиски цивильного облика!

Каин помнит сегодня о брате ли?
Ходит в церковь, с друзьями дурачится...
И бредут избирать избиратели —
только змеи опасливо прячутся.

* * *

Лето медлит у переправы:
 уходить или все же нет?
 Необузданной чащей травы,
 но соломенный чаще цвет.

Ностальгичен тысячелистник
 в окруженье борщевика.
 Часть листвы ржавеет по-лисьи,
 не от осени — от грибка.

Август густ, далека агония,
 мало этих рыжих заплат.
 Курит женщина на балконе —
 ветер треплет ее халат,

обнажает ее секреты,
 подступает к ее нутру.
 Пепел падает с сигареты,
 рассыпается на ветру.

Ели стихли и потемнели.
 У предгрозя другой язык.
 Птица щелкает еле-еле.
 Огрызается грузовик,

и в ответ шелестит дорога,
 будто шепчет какую весть.
 И тоска не тоска, тревога
 не тревога, но что-то есть.

Ветка ловит дыханье ветра,
 опускаются небеса,
 и детенышей человека
 гулки мелкие голоса.

* * *

А нынче вдруг весна нахальная
 устроила похолодание,
 хотя вокруг страда пасхальная,
 и суета, и ожидание:

Христос на днях лишь был на ослике,
 евреи лишь недавно по морю...
 Пока все мирно — ну а после как?
 Все по сценарию знакомому?

И мне не спится — больше глючится,
 и голова к утру гудящая.
 И даже спиться не получится:
 наследственность неподходящая.

Встаю, распахиваю форточку,
 и вдруг оттуда звуки скрипочки.
 Душа, присевшая на корточки,
 в момент становится на цыпочки

и подпевает, безголосая,
 и лихо сбрасывает тапочки,
 и в пляс идет простоволосая —
 без всякой кепочки, без шапочки.

САМОЛЕТ

При посадке или взлете самолет, конечно, птица —
он осанкою гордится, клювом целится в зенит.
И комочки утлой плоти в нем пытаются молиться,
и пилот его боится и молчание хранит.

Но когда по небосклону он плывет себе сквозь тучи,
самолет скорее рыба. Опасаясь утонуть,
в брюхе топчутся Ионы. Самолет привычно пучит —
он рычит без перерыва, не решаясь отрыгнуть.

Лишь во время урагана и во время забастовки
самолет и отдыхает, целый свет исколесив.
Шевелит себе ногами, наспех развязав кроссовки,
ждет, когда придет механик пить вечерний керосин.

ОСИНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

1

Осы носятся реже. Волны ветер подмел.
Никакого «эй, ухнем!» — вздохи и причитанья.
В теплой воде прибрежной дремлет притихший мол.
След самолета пухлый повторяет его очертанья.

Зной средиземноморский стал спокойным теплом.
Школьников отозвали — в моде дамы с собачкой.
Чайка бродит у кромки — лень махнуть ей крылом.
Непонятно откуда трубочный дух табачный.

Нынче то же, что завтра. Завтра будто вчера.
Плещут чахлые пальмы и поводят плечами.
И лиловое нечто долго доит пчела —
выбор не позволяет перебирать харчами.

2

Когда заканчивается у осы завод,
когда теряется смысл в ее суете,
оса замолкает и съеживается. Подтягивает живот,
напоминая игрушечную старушку с коликами в животе.

Смерть привыкла свое, когда придет время, брать —
бесполезно жужжать, жаловаться или рычать.
Собака — когда есть возможность — уходит в лес умирать,
чтоб хозяина не огорчать.

ПОСЛЕСКАЗКИ

1

А старуха — не злая старушка,
 просто детище трудного быта.
 У нее что ни день постирушка,
 а корыто и правда разбито.
 И с избушкой понятное дело:
 их-то старая — щели и шашель.
 Ей-то ладно, она бы терпела,
 но у мужа — суставы и кашель.
 Да и с теремом дело такое:
 старость счет открывает потерям,
 ноги мерзнут, охота покоя...
 А когда появился и терем,
 у старухи прибавилось прыти —
 жизнь наладилась, в щели не дуло.
 Бабка пела, стирая в корыте!

А все прочее Пушкин придумал.

2

А что до Гердиного Кая,
 то *à la guerre comme à la guerre*.
 Он хлопнул дверью, изрекая,
 что озверел от роз и Герд,
 что в доме запах от старухи...
 И Герда, горбясь на тахте,
 смотрела вслед. И стыли руки
 на округленном животе.

3

А с гадким утенком удачно вышло:
 быть принятым в стаю — победа большая!
 Но пришлый всегда остается пришлым,
 хотя его больше не обижают.

Ему доверяют вести эскадрилью
 (когда остальным вести неохота).
 Порою похлопывают по крыльям
 (и помещают в газете фото).

Он в стае своей на счету хорошем —
 он первый в небе и на земле ведь.
 Утенок остался в далеком прошлом —
 теперь он большой и вальяжный лебедь.

И будет век его славно прожит,
 но жить с клеймом и его потомкам.
 И сына зовут за глаза утенком
 (в глаза не решаются — врезать может!).

* * *

А ко второму января,
взглянув на лист календаря,
Он снега сыпанул на город.
И вот, как маленький, дрожа,
глядишь с восьмого этажа
на крыши, гаражи, пригорок.

Мне площадь из окна видна,
где ель в углу освещена,
не срубленная, а живая.
Цепочкою следы шагов
и черная меж берегов
расчищенная мостовая.

Ползет шутовина, дрожит,
с ней, как с коляскою, мужик
бредет и чистит тротуары.
Порою струйки снега с крон,
и сверху надо всем — ворон
презрительные кары-бары.

* * *

Все же давай учиться включать мозги —
даже когда за ложью уже ни зги,
когда ложь как семечки и засыпано все лузгою,
когда назгул нарежает круги под гул пурги,
когда разгул привстающей с колен мелюзги
и не слышны гулливеры за лязгающей мелюзгою.

Все же давай с тобою поговорим
о чем захочешь, к примеру — о том, чей Крым,
и что есть брезгливость, и что нас сближает кроме
брезгливости, когда речь превращается в воровской жаргон,
и жиганы в законе сгоняют людей в загон,
и у хлеба все неотвязнее привкус крови.

Давай мозги включим, помолчим, и не надо слов,
что, мол, воры правят и у хохлов,
что пиндосы и этот соломенный их не лучше, —
«сам дурак» не поможет. Лучше учиться не убивать
и не поддаваться убийцам, а как та лягушка — масло взбивать
в грязноватой, кровью папахивающей луже.

* * *

Я знаю, это все простая
подначка и попались мы.
Я знаю, завтра все растает:
нам не положено зимы.

Но будто что-то отпустило —
и сам другой, и мир другой.
Как будто что-то мир простило,
сказало: «Ладно, дорогой!» —

и вскользь забинтовало раны
и задрапировало тлен,
загрунтовало все изъяны
и белит город, как бы в плен

десантом этим взяв безмолвным,
садящимся на все и вся.
Худая тетка с дядькой полным
застыли, мусор вынося:

сугроб лежит на крышке бака!
Народ на остановке ждет.
Снег все идет, идет собака,
и лишь автобус не идет —

не хочет подойти поближе,
застыл обиженно вдали:
он так просил, чтоб дали лыжи,
но лыж на склад не завезли!

КНИГА ВРЕМЕНИ



* * *

Они познакомились летом
в доме ее сестры,
потом проторчали ночь у его друзей.
Родители думали, что она у сестры,
сестра — что она дома.
Обошлось без скандала.
Назавтра слушали Соткилаву.
Он пришел первым —
первый и последний раз в жизни.
Зураб Лаврентьевич пел как надо,
вот только не догадался
пропеть им Виндексову эпиталаму.
Назавтра был «Амаркорд» Феллини,
что означает «любовный шнур».
Они не знали, просто почувствовали.
И когда ровно через неделю
в соседнем городе, где он работал,
была «Репетиция оркестра»,
стало понятно: оркестр сыгран,
репетиции можно заканчивать.
Но им нравилось репетировать, и до загса
они добрались через год лишь, в июле.
Спешки не было. Эпиталаму
еще весною пропел приятель,
которому позже рукоплескали
лучшие залы мира.

Приятеля нет в живых,
но эпиталама,
его сохраняя голос
и возвращая облик,
вот уже сорок лет
витают над ними
и начинает звучать,
стоит им взяться за руки.

* * *

Когда мы оба постареем
(я — раньше, больше), жизнь даст сбой.
Я стану делаться евреем,
а ты останешься собой.

Мой русский превратится в идиш,
я стану колким, словно еж.
Ты индульгенцию мне выдашь,
но будешь жить, как и живешь.

Я стану праведен и нуден,
я стану мелочен и крут,
и ты, уставшая от буден,
организуешь мне кашрут.

И день наступит, суд настанет —
мне вся припомнится фигня...
Но на тебя Всевышний глянет
и — так и быть! — простит меня.

* * *

Как зэки с отбитыми легкими,
вороны закашливаются.
Лето заканчивается.
Ветер пальцами ловкими
кроны обыскивает,
золотишко выискивает,
изымает,
упавшее поднимает,
с дворниками расплачивается.
Ветки раскачиваются,
в листья зябкие осень закачивается.
Лето заканчивается.

* * *

За полдень, за город, вдоль реки —
запахи, жаворонки, васильки,
маки, злаки, могучая кукуруза...

Что-то уютно гудит —
шмели, тяжелея от груза
пыльцы, зависают, движутся еле-еле,
комичны и величавы.

Кто-то за действием следит:
шумно утки взлетели —
стаяка налево, стайка направо.

Кто-то треплет траву на лугу,
и, поднеся сокола — сапсана ли, пустельгу,
кто-то стряхивает с проводов
грозди скворцов, горсти дроздов
и всяческую мелюзгу.

Кто-то командует, и птеродактиль
притворяется цаплей и
не вспархивает,
а крыла разворачивает,
неуклюже распахивает,
воздух вспарывает
и над лугом себя несет.

Тщательно вы все продумали, товарищ Создатель —
сценарист, декоратор и режиссер!

* * *

Когда споткнусь в конце тропы я
и ствол отделится от пня,
любовь прольется из меня,
перетекая в энтропию.

Но все ж достанется по грамму
оплакавшим отживший прах.
Любовь проникнет в амальгаму
на их любимых зеркалах.

И, с двойником встречаясь взглядом,
они не спросят, почему
внезапно вдруг теплеет рядом
и взгляд теплеет почему.

Крик

1

Какой сезон — такая «Мурка».
 Вожди безглазы и безлики.
 Мир не разорван «Криком» Мунка —
 что миру муки, мунки, крики?

Шалют под горлом с бритвой руки,
 льют кровь и пену на эпоху.
 Франц Марк в верденской мясорубке
 был перемолот в корм Молоху.

За прялкой парку в дрему клонит,
 а Бог над книгой судеб стонет:
 в ней то ошибка, то пометка.
 Стоят, друг в друга вжавшись, кони
 и ждут прихода Франца Марка.

2

*Лишь сердце мое никогда не забудет
 Отдавшую жизнь за единственный взгляд.*
 Анна Ахматова

...а я о Лотовой жене —
 она во мне! Как будто не
 она с застывшим криком Мунка,
 а я застигнут, бросив взгляд
 туда, где бросил все, — назад.

Законсервирована мука
 и эта соль и боль в очах
 при взгляде на родной очаг,
 где столько лет жила, рожала,
 где сжились счастье и беда...

Возврата больше нет туда,
 откуда только что бежала.
 Там, где вчера жила делами,
 сегодня пожирает пламя,
 что намечтала для детей.

Туда вовеки не вернуться —
 так можно ли не оглянуться?
 Ведь жить, отбрасывая память,
 как не отбрасывая тень.

* * *

Хорошо помереть в одночасье,
легкой старости вдоволь вкусив,
так, чтоб дети, и внуки, и счастье...
Крупным — счастье. А мелкий курсив —

для грызни, друг на друга киваний,
желтой прессы, мышинной возни.
Для обид и разочарований,
для болячек (а как же без них!).

Но любовь чтоб по-прежнему нежно
улыбалась, не пряча лица,
и держала за плечи надежда
до конца. Да и после конца.

* * *

Ангелы календарь листают,
дыры в тучах латают.
Перья желтые их облетают,
белые отрастают.

Сползает туман за окном ноябрьским
по лесному массиву.
Ангелы в тумане роятся —
им хорошо, но сыро.

Осень трудно зимой беременна —
уныло, отечно, голо.
...Мне уже не умереть безвременно.
Навязан выбор глаголов.

Перебираешь потери, смиряешься тяжело.
Не успел оглянуться — глядь,
слово «бегать» из лексикона ушло,
зато прижилось «ковылять».

Но я знаю: когда разрешат мороз,
снег и солнце, пляшущее в снегу,
я смогу запрыгать, как одышливый пес,
и хвостом завиять смогу!

* * *

Для виселицы — планки. Для смертных — план.
 Придворный Придворов* казнью Каплан
 любит. Без стыда и боязни,
 слонов и людей убийство превознося,
 а также Блюмкина, убивавшего всех и вся,
 Гумилев идет к собственной казни.
 Фортуна — мастер ужимок и танцев.
 Один из последних повстанцев,
 из гетто канализацией уходя,
 от верной на почти верную смерть идя,
 но все же идя в этот раз не в бой,
 отказывается взять с собой
 подкармливавших его проституток.
 Видимо, это плохой пример.
À la guerre, видимо, *comme à la guerre*.
 В этом логика, несомненно, была.
 Время было такое. Такие дела.
 Мир непонятен и жуток.
 Милосердного Бога превознося,
 во имя его умирают все и вся,
 именем его убивают вся и все,
 святых перемалывают в колесе,
 чтобы потом им молиться.
 Рим выкармливает волчица.
 Стая мчится за главным стерхом.
 Можно мне умереть экстерном?
 Я не хочу учиться.

А некий Мартин, кровь не плеча,
 отдал нищему полплаща —
 и стал святым. Пустяк,
 но, значит, можно и так?

* Ефим Придворов — настоящее имя Демьяна Бедного.

* * *

Ты помнишь, как все началось с родника?
 А после потоки, разливы, стремнины...
 Но русла меняет неумоимо
 свободолюбивая жизни река.

Все новые русла находит, а ты
 с водой нетекучею сохнешь, как старица,
 и стариться срок, и бессмысленно зариться
 на юных пловчих, корабли и мосты.

И телу-то, ладно, положено тлеть,
 но что же поделать мне с девочкой этой —
 с душой, в этот хлам не по росту одетой
 и напрочь отказывающейся взрослеть?

Как дедушка с внучкой, я с нею вожусь,
 стою у песочницы, слушаю лепет.
 Играет малютка, куличики лепит —
 а я-то люблюсь, а я-то горжусь!

* * *

И муравей создал себе богиню...

Булат Окуджава

Он бежал из лежалого детства, из оседлой его черты,
но все время оглядывался — не то что Лот.
Вплывь спасался, из обломков мечты
соорудил непотопляемый плот.

Все шло в дело — вплоть до сломанного бревна.
Уносимое ветром он ловил на лету.
И когда наконец появилась Она,
они построили дом на его плоту.

Ветер норовил мачту дома согнуть,
пытался палубу вышибить из-под ног.
Но этот дом не мог утонуть,
он даже перевернуться не мог.

Крыс не было, и некому было сбегать с корабля,
а команду они успели в пути родить.
И когда скалою выросла впереди земля,
пугало лишь, что не вместе придется сходить.

* * *

*Но еще многих всяких дураков радует
Бравое пенье солдат.*

Булат Окуджава

Римская империя больше не в упадке —
к Цезарю доверие, четкие порядки,
митинги разрулены, службы не сбоят,
буйствуют мизулины родом из Буя.

Здесь суровость ценится и престиж страны,
здесь в метро прицелился воин со стены.
Здесь ОМОНЫ славные берегут покой.
Церковь православная снова под рукой.

Четко все отлажено — пикнуть не могли!
Здесь грохочут слаженно снова сапоги.
Здесь враги в агонии, здесь с колен встают,
здесь людей в колонии смертным боем бьют.

Здесь ларьки дурацкие лихо снесены.
Муравьи арбатские больше не нужны:
пацифизм розовый гниль в себе таит!

Ну а этот, бронзовый, пусть себе стоит,
пусть себе помается, видя — каково.
Пусть народ снимается около него.

* * *

Скажи мне, милый друг, кого сошлют на юг...

Борис Херсонский

В 2017 году городской совет Рима во главе с мэром Вирджинией Раджи официально отменил указ императора Августа об изгнании поэта Овидия.

Из новостей

Аид хранит и мрамор, и гранит.
Империю с империей роднит
внимание к фасадам и парадам.
Кто говорит, что правды в мире нет?
Считай, каких-нибудь две тыщи лет —
и вот Овидий признан и оправдан.

Теперь ожить, вздохнуть — и можно в Рим!
И Августу кивнуть: «Поговорим!» —
без зла, как богоравный с богоравным.
А что сослал — так Понт не Колыма,
и ссылка тоже все же не тюрьма
(а если ссылка к Понту — и подавно!).

К тому же так положен был почин
в края сии без видимых причин,
но и без головы усекновенья
поэтов слать, чтоб воздух сей морской
их наполнял живительной тоской,
чреватой зарождением вдохновенья.

Подумаешь крамольно иногда:
ну да, Одесса — но не Магадан!
Другая как бы все-таки страница,
где можно ссылки груз, как крест, нести,
грустить у моря, господи прости,
и увлекаться Лизою Браницкой.

* * *

А выход есть, и метод прост:
не умствуй попусту, но делай.
Пусть сзади — Росси, слева — мост,
и чтоб не днем, а ночью белой.

И чтоб, конечно, молодым,
а не приговоренным к датам.
И лучше, чтоб не пьяным в дым,
а лишь немножечко поддатым.

И чтоб ни слова в простоте,
чтоб споры при любом вопросе,
и чтобы вот он — БДТ,
а сзади — да, все тот же Росси.

А Витебский, где от тоски
мечтал на месте сдохнуть прямо,
когда бесценные листки
машинописи Мандельштама

(чужие! из четвертых рук
такое счастье перепало!)
осенний ветер вырвал вдруг —
и в грязь на шпалы как попало?..

Нет! Лучше уж на первый курс
к себе в анатомичку в гости,
где клеит друг, войдя во вкус,
распределяющую кости

пампушку Ирочку уже —
мол, Гюльчатай, открой свой лифчик! —
а я с костями, в кураже,
среди иззубрившихся медичек,

поддразнивая сей народ,
под визг желанный торжествую
и, как бы впав в раздумье, в рот
берцовую иль локтевую

сую. А вот я под дождем.
Вот у Невы на берегу я.
Вот с другом к дому мы ведем
одну, а вот с другим другую

мы провожаем — путь далек,
и много тем для разговора.
Метро закроют. Денег йок.
Зато есть пачка «Беломора».

Нам «Беломор» был друг и брат,
был дым отчества отраден,
нас лихорадил Ленинград —
он был наградно ленинграден.

Меня он астмой угостил,
он всласть со мной позабавлялся.
Я в Куйбышевке погостил
и в Эрисманке* повалялся,

к реке сбегая налегке,
чтоб притвориться человеком,
и ингалятор «Вадемекум»
дрожал старательно в руке...

* Ленинградские больницы имени Куйбышева
(с 1992-го Мариинская) и имени Эрисмана.

Мне эти тени не грозят.
Другая речь и сера в ухе.
Как сорок лет тому назад,
сердцебиение при звуке

ушло. Но в звукоизвлечение
есть отрезвляющий эффект.
И я хожу как на лечение
в плюсквамперфект.

* * *

Когда жена выключает свет,
закончив читать перед сном,
осветитель вывешивает луну вослед,
и луна висит за окном.

Глаз приспособливается, как полагается,
и (не сразу, промежутки этот необходим)
входит ночь — осматривается, располагается,
и вот мы с ней один на один.

Снаружи с неба глядят на землю
тусклые глазки небесных крысят,
мерцают себе невнятной зеленью.
В комнате гобелены висят.

Я вырос под ними, но мы разминулись.
Теперь они вновь у меня обитают.
Круг замкнулся: они вернулись
и по ночам оживают.

Когда в комнату проникает ночь,
суеются их постояльцы:
ясное дело, поразмяться не прочь,
кто за день застоялся.

Тетенька сыплет уткам корм;
собравшиеся за день
облака, похожие на попкорн,
наплывают сзади.

Мама рядом с тачкой идет,
мальчик толкает тачку,
пес на малышку лапу кладет,
сестренка букетик тащит.

Все торопятся, лишнего времени нет —
лишь до начала дня.
Когда мне однажды выключат свет,
они проводят меня.

* * *

С тоской слежу за мухой-однодневкой:
 живет один лишь день, а не тоскует.
 Кукушка ей года не накукует,
 что куковать — какие там года!
 Вся жизнь — лишь это воздуха дрожанье.
 Они не тратят время на жужжанье
 и на еду — какая там еда,
 и незачем, и нечем. Иногда
 на миг замрут, потом легко взмахнут —
 как будто бы вздохнут — взлетают
 и медленно спускаются. И тают
 их скудные минуты, а они,
 как будто в этом мире лишь одни,
 всё плещутся, всё любят на лету
 и, отлюбив, мгновенно умирают.
 А рядом прочие дрожат, играют,
 любить готовятся. И Бог смеется,
 любясь, как танцует эта рать.
 Как будто вечность им в залог дается,
 как будто вечность жить им остается,
 как будто через час не умирать.

MEMENTO MORI

1

Не заглядывай под руку мойре:
 дернет нитку — и пряжа может рассыпаться.
 Нет, *temento*, разумеется, *mori*,
 просто не слишком на этом зацкливайся —

времени нет. Надо сварить кофе, о мире
 ленту расспросить новостей,
 бардак разобрать в квартире
 до приезда гостей,

к их концерту расставить в зале аппаратуру,
 о дефиците шнуров скорбя.
 Заехать к предкам, обругать перебегающую дорогу дуру
 и познать самого себя.

2

А старость — это вам не *здрасьте*.
 Она тюрьма вам и сума.
 И от гормонов меньше страсти,
 и больше страсти от ума.

Пока еще не клянчу сдачу,
 соря секунд сухим песком.
 Тысячелистник мне удачу
 пророчит каждым лепестком.

К себе претензии — не к дяде,
 и привкус детства в молоке.
 Все больше меткости во взгляде,
 хоть меньше меткости в руке.

Но ветер северный к урону —
он охлаждает твой азарт
и держит веером ворону,
уже не пряча черных карт.

3

Как бредет старик прохожий
по присыпанной дорожке...
Легкий плюс, и день погожий,
а пороша понарошке.

Ну а этот ковыляет,
ноги врозь переставляет —
будто след свой представляет
и в него стопу вставляет.

И такой же старый рядом
пес плетется понемногу.
...Смерть, обоих смерив взглядом,
убегает на дорогу.

Шины там порошу роют,
там добыча как на блюде,
тормоза визжат порою,
и визжат порою люди.

Там ловить и надо споро
жертвы скользкими часами!
Ну а эти двое скоро
к ней доковыляют сами.

4

Когда он перерос свою смерть,
когда он как бы на смерть положил,
смех его стал вновь похожим на смех
и вновь до слез стала нравиться жизнь.

И лес стал вновь похожим на храм,
и поле сделалось полем опять.
Он с болью здоровался по утрам,
когда им обоим удавалось поспать.

Он гнома напоминал давно —
теперь он стал настоящий гном.
И смерть устала стучать в окно
и задремала, присев под окном.

ОСЕННИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

1

Кто-то придумал, что лето ушло.
 Кто-то придумал, что лето здесь было.
 Стынет в загоне гнедая кобыла.
 Мнится бессмыслицей миф про тепло.

Долгий маршрут от столба до столба.
 Небо смежило тяжелые вежды.
 Осень размеренно с мокрого лба
 мокрой ладонью стирает надежды.

2

Купальники сохнут, качаясь нелепо.
 Расклеван подсолнух, расклевано лето.
 Меж прежних колосьев везде, где могла,
 озимая осень уже проросла.

И жарко, как прежде, но даже вначале
 другие надежды, другие печали.
 А прежние скошены. День от дня
 все злее кусает подошвы стерня.

3

И что ни год, один исход:
 не пел — а песенка и спета.
 И как налоговый инспектор,
 приходит осень каждый год.

Ты встретишь, будто тещу зять.
 Она войдет слегка жеманно,
 а там, поднапустив туману
 и оценив, что можно взять,

фиксируя любой изъян,
 перешерстив все накладные,
 наложит санкции штрафные.
 И что накоплено, изъяв,

уйдет, сведя тебя с ума,
 сил не оставив материться...
 А следом, как судебный пристав,
 без стука ввалится зима.

4

Исход. Поныла осень власть и,
 роняя лиственный покров,
 ушла. При мирной смене власти
 правитель новый не суров

вначале. Он почти не правит,
 он либеральностью грешит.
 Он то амнистию объявит,
 то как бы праздник. Не спешит

зима нас сковывать, не злится,
 лишь выметает закрома.
 Туман развесила сушиться
 на солнце. Будто не зима,

а бабье лето входит в город.
 И даже в утренних сорок
 с воронами переговорах
 нет этой жести между строк.

Гоняет ворох листьев ветер —
 и каждый кажется птенцом
 подброшенным. Зима на свете,
 но с человеческим лицом.

5

Поняв, что кранты, что прощаться пора,
 вчера — то есть не в день последний, а накануне —
 октябрь совсем распустил нюни:
 в зюю упился, рвал листья и ветки ломал.
 Но это было вчера.
 К утру он смирился. Он понимал,
 что день последний дан не для плача:
 прощаться надо иначе.

С утра, когда сметены были листья и ветки,
 октябрь, не вязавший лыка,
 не без труда опухшие веки
 разлепил, чиркнул лучиком. И от мала и до велика
 птахи, испускавшие охи и ахи,
 соревнуясь в тембре и силе,
 заголосили с весенним ражем.

Октябрь занялся макияжем:
 красный стал смелым, желтый стал спелым.
 Октябрь увлекся и занялся делом,
 забыв, что стар, что на смертном одре.
 Два штукатура протопали в белом
 с белой краской в белом ведре.

Солнце тучи раздвинуло робко,
 нарисовало воздух весны.
 Тут же очнулась божья коровка,
 тут же запричитала сорока,
 сделав качели себе из сосны.

А снизу повизгивала собака,
 забыв, что зависть — чувство дурное.
 И осень стала прикидываться весною,
 на Штрауса променяв напоследок Баха.

6

Дождливое адажио с листа,
 небесных вод и вод земных слиянье,
 дождь моросит, дождь в воздухе висит.
 Надежде вслед уходит суета —
 ни спорить, ни просить о подаенье,
 ни лебезить... В парадном одеянье
 смеявшиеся над прыжками ветра
 и вот теперь в отместку догола
 раздетые, деревья расступились,
 и ветер, выглядеть неумолимым силясь,
 вокруг деревьев вертится, форсит,
 то налетает вдруг из-за угла,
 то сорванное месит и кромсает,
 подхватывает и в лицо бросает:
 попал, промазал и опять попал,
 шныряет и швыряет что попало
 куда попало. У дождя запал
 прошел, пропал, он каплет как попало
 и виснет на ветвях. Уснул, поспал,
 опять очнулся, постучал по луже,
 пошелестел, чтоб знали — будет хуже,
 и снова замолчал. Взгляд устремив
 поверх густой нависшей пустоты,
 поверх тщеты, и брызг, и безобразья,
 без всяких макферсонов перед казнью
 расправив ветви, спины распрямив,
 от наготы ничем не защищаясь,
 без слов прощаясь, до весны прощаясь,
 молчат деревья темные с утра.

Унылая, как сказано, пора.

* * *

А с глаз долой — из сердца вон,
как говорится.
Покрыться мглой, как будто рвом
отгородиться.

Сгреб дворник листьев вороха
и сжег спокойно.
По руслу память, но суха
вдоль русла пойма.

Но сон, но мелочь, недолга —
и дождь в верховье.
И память вновь на берега
былой любовью.

И будто шелестит трава,
шуршат колосья.
Как будто жизнь, как будто рва
и нету вовсе.

* * *

Ну и что, что понарошку,
что не рыбка, а блесна?
Мне б запрыгнуть на подножку
убывающего сна.

Там иначе, зыбче, проще:
вот ты мальчик, вот ты дед.
Смена кадра, пропуск, прочерк —
и проблемы нет как нет.

Мир размыт, зато отстиран,
и вокруг полно даров.
Все возможно, все пунктиром —
умер-шмумер, будь здоров.

Там не сгорбленные плечи,
там в коленке не металл.
Там дышать бывает легче.
Там однажды я летал.

* * *

И потемнели пыль у ног,
река и камни,
когда прикрыл, нахмурясь, Бог
лицо руками.

И рывкнул гром, и за леском
другой ответил.
И стал гоняться за листком,
сорвавшись, ветер.

Дубы упруго напряглись,
качнулись ели.
И утки с криком поднялись
и снова сели.

И ливень лапал, обалдев,
все кроны разом, —
так пьяный шкет при виде дев
теряет разум.

Срывалась мокрая листва,
устав качаться.
Но все закончилось, едва
успев начаться.

Создатель пальцы чуть разжал,
и из-под пальцев
свет вырвался и задрожал,
заколебался.

И небо, не жалея сил,
заголубело.
И от плотины лебедь плыл
легко и бело.

* * *

Ветер, с утра отбуянив, склоняет усталую голову.
Отдождало. В водосток стекают остатки ручьев.
На площади околачиваются бомжи, алкаши и голуби,
на остановке — русскоязычное старичье.

Кости всему району перемываются дочиста,
всяк обсужден, осужден — а иначе как?
Одиночество старости плюс эмигрантское одиночество.
Зато обуты, сыты — обо всех позаботилась страна-мачеха.

Идущий мимо, провожаемый взглядами, аллюр меняет:
сначала наши, потом бомжи — тут смутился бы и герой!
Бомж немецкий — он, как и всякий, обычно воняет,
но изысканно-вежлив бывает порой.

Помню, раз в магазине занимаю очередь в кассу.
Пованивающее впереди нечто в лохмотьях, но в дорогой шапке
оборачивается, вперивает в меня заплывшие глазки,
а потом, качнувшись, делает в сторону шаг и

изрекает: «Становитесь передо мной — хотите?»
И в ответ на мое: «Спасибо, не надо! Я постою охотно!» —
«Ах, сделайте одолжение, проходите!»
Вот уж времени у меня сколько угодно».

* * *

Воздух выдохся, сгустился ночи сок.
Чуть задремывает боль в преддверье дня.
Звезды сыплются сквозь дырочку часов,
их все меньше остается у меня.

Задолжал, поиздержался я, кажись,
все заначки прокутил свои, дурак.
Основательно поистрепалась жизнь:
тут прореха, там прореха, здесь дыра.

От зеркал, от несговорчивых придир,
отворачиваюсь, мрачен и небрит.
Осуждающе плюется Мойдодыр —
носом шмыгает, но слов не говорит.

Выйти, что ли, на предутренний балкон,
как когда-то выходил сюда курить?
Грохотнул товарный поезд далеко,
от усталости наращивая прыть...

Воровато оглянусь по сторонам,
сброшу майку, быстро крылья разверну
(клинит правое слегка по временам —
но сойдет!) и вдруг с балкона сигану.

Резкой болью отдается каждый взмах,
резь в затылке, и дышать неважно.
Но я рею над деревьями впотьмах,
я неспешно набираю высоту.

Выше крыш я поднимаюсь, выше крон,
ошалевшую ворону обхожу.
Вон вдали опешил в лодочке Харон —
покружу над ним и кукиш покажу.

Выше! Прочь от боли, страха и тревог!
Ниже стриж — не лезь за мною, дурачок!
Облака пронзаю, делаю рывок —
даль и солнца ошарашенный зрачок.

Я вначале суетился сгоряча,
но теперь мои движенья все ровней.
Боль растерянно уходит из плеча —
я кружок прощальный сделаю над ней.

Мир внизу, внизу мой груз усталых лет.
И в одной из там оставленных квартир
из окошка полотенцем мне вослед
машет, машет восхищенный Мойдодыр.

* * *

Первый снег — какая малость...

Виктор Шнейдер

Куда девалась лень и с ней
куда девалась
хандра? Обычный первый снег —
такая малость!

Обычный, мокрый. В тишине
он весь растаял.
Светают окна. Снега нет —
вода простая.

Неправда! Снег еще нашит
на кроны, крыши.
Березы лиственный прикид
весь белым вышит.

Береза в вышитом манто
пижонит гордо.
Спят под попонами авто —
на лапы морду.

Рябины ягоды рябят —
на белом красным.
И птицы их не теребят.
И жизнь прекрасна.

Под фонарем снег голубей
и смят местами —
гуляет стайка голубей
и снег листает.

Снег тает, но не держит зла,
он сделал дело.
Температура вниз сползла,
но потеплело.

Туман со снегом заодно —
он фон в спектакле.
И в паутине за окном,
как мухи, капли.

* * *

Вот он вертится, мой на бессмертие шанс,
корчит рожи болванкой для морды.
Он тошнит мою дочь и глотает свой шнапс —
свои околоплотные воды.
Да какая там плоть! Не ухватишь в щепоть —
загогулина, запятая,
прихоть Божья. Она тебя зрит ли, Господь,
ногу за ногу заплетая,
пуповину хватая слепую рукой,
улыбаясь — себе ли? тебе ли? —
и вкушает последний безмерный покой
в безразмерной своей колыбели.

КНИГА ПОДНЕБЕСЬЯ



* * *

Вечереет. Углы отчетливей.
Бог склоняется, все разглядывает.
А потом что надо подчеркивает —
тут разглаживает, там раскладывает.

Надо глянуть, все ли расставлено,
все ли ладно перед потемками, —
тронуть тента тень растянутую,
тень антенны тронуть тонкую.

Бог присматривается попристальней:
вечер блики о пристань плещет, и
пацаны рыбачат на пристани,
а вокруг коты, как болельщики.

Бог присвистнул и с неба свесился —
явно в удочках разбирается!
...Парус солнце поймал и светится.
И луна над ним разгорается.

* * *

Бог — он, конечно, режиссер от бога,
в нем нет изъяна.
Но сценарист попался выпивоха:
он пишет спьяну,
вставляет в текст любую ерунду, —
досадно, братцы!
Что остается? Править на ходу
и чертыхаться.

* * *

Для чего слова «учитель»
и «мучитель» столь похожи?
Отчего мороз по коже?
Где же грань сковороды?
Почему привычно к «лечит»
рифма просится «калечит»?
Бисер Киров бисер мечет,
кочет, кречет, чет и нечет —
далеко ли до беды?

Построений постоянство:
между «Пу» и «ин» пространство
чем попало заполняешь —
получаешь «наше все».
Встарь пирушка да норушка,
днесь прослушка и наружка,
эскадрилью стерхов душка
шлет, и прячется лягушка
в старый пруд Басё.

* * *

Воскресный ветер в ударе.
Он подменяет отдыхающих дворников:
подметает дорожки,
подхватывает листву, бумажки,
кленовые вертолетики,
перемешивает с голубями,
попавшимися под руку,
и зашвыривает все это на крышу магазина.
Он завязывает узлом, а потом
расправляет уши юному спаниелю.
Спаниель натягивает поводок
и начинает взлетать.
Сухая, как богомол, прокуренная хозяйка
повисает на поводке, дергает его
и злобно орет: «Стоять!»
Спаниель поджимает уши,
обижается и затихает.
Ветер обижается и затихает тоже.
Оба оглядываются на меня,
и я в окне восьмого этажа
развожу руками:
«А я здесь при чем?»

* * *

Как мало-то, в сущности, надо!
Луч, вырвавшийся из-за туч...
Каракуль овечьего стада...
Свернувшейся глины сургуч...

Нахальна, смела и красива
вся эта зеленая рать —
рождественская крапива,
раздумавшая умирать.

Воробышек этот прожженный
с лихим «чик-чирик» на губах
и этот восторженно-желтый
бликующий мусорный бак.

А эта несущая мусор,
в дырявый засунув мешок, —
моя непутевая Муза,
и ясно, откуда стишок.

* * *

За окном молчанье снега
в осторожных рукавицах —
это было или снилось?

Но с утра сегодня снится
очень яркое молчанье,
очень звонкое молчанье.

Солнце все еще за лесом,
но хватается лучами
за потерянные в синем
реактивные хвосты.

Из трубы над каждой крышей
лезет джинн — он руки выше,
вырастая, поднимает,
он на цыпочках танцует...

Солнце розовым лицует
небо. Улицы пусты.

* * *

Смотреть и не оценивать. Смотреть
и хоть на треть дурацкий пыл умерить.
Смирить свою гордыню хоть на треть
и научиться верить. И не верить.

Спокойно и улычиво стареть,
смотреть, как ветер волнами играет.
И глупое смятение стереть,
как солнце утром облака стирает.

* * *

Меж лихими паханами,
меж бухими пацанами
нас не видно. Высшим силам
недосуг заняться нами.

Мне-то грех в рыданиях биться.
Мне-то выдан шанс забыться
и в дряхлеющей Европе
в щелку мелкую забиться.

Впрочем, по всему похоже,
что покой наш ненадежен,
и коль полыхнет — сумеют
нас привыковырять тоже.

* * *

Нам свищут раки и подкручивают ручки настройки.
Нам черные кошки на ходу бросают: «Не смейте!»
Нашим Виям кто-то подъемлет веки, а мы умываем руки,
чтобы на кладбище не заразиться смертью.

Подвешенные ружья в третьем акте у нас стреляют,
всяк, кому не лень, пытается в нашу жизнь вмешаться.
Нами, похоже, столько нечисти управляет,
что у Всевышнего просто не остается шансов.

* * *

Этой ночью шла зачистка,
население не спало.
Силы кукольного сыска
брали всех кого попало.

В будках прятались собаки,
и в хлеву дрожал барашек.
Под конвоем шапокляки
выводили чебурашек.

Воздух приторный и пряный.
Оборвавшееся пенье...
Пал солдатик оловянный,
оказав сопротивление.

Навалились дружно вместе —
те паяли, те держали.
А потом на тусклой жести
капли олова дрожали.

* * *

Я уже умею считать до двух,
хотя вроде бы можно и дальше, по слухам.
Мне даже сказали, что я Винни-Пух.
А я и хотел бы быть Винни-Пухом,

но, не считая ворчалок, конечно же, я Пятачок!
Сучусь, подпрыгиваю, всякое дело делаючи,
и дрожу; хочется в норку залезть — и молчок.
А что вес — так это так, мелочи.

Правда, норки нет — есть хлипкий домик.
Закрываю окошек створки.
Шарики лопаются со страшным треском,
тучи взрываются с грохотом,
а я представляю себе, что я в норке,

и, не вылезая, дрожу от страха там.
Снаружи ведь сказка другая: тролли и орки.
Но я порой аргументы выискиваю,
вытаскиваю себя из этой своей норки

и при этом даже попискиваю.
Жаль только, что Кристофера Робина не волнуют мои слезы.
Он нередко пробует меня, как лимон, выжать.
Но я Пятачок, я хмелею с небольшой дозы, и это помогает выжить.

А порою — я и сам этим поражен! —
меня непонятная шиза косит:
я выскакиваю из норки и пружинаюсь на рожон,
как будто и не Пятачок я вовсе.

Всем нам когда-нибудь будет земля пухом,
и больше не потребуется сил напряжение.
Но до этого очень хотелось бы стать Винни-Пухом,
и чтобы Кристофер Робин покачал головой с уважением.

* * *

...И перебив его в последней речи грубо
и объявив последний перерыв,
судья подкрасит в перерыве губы,
супругу параллельно позвонив.

Во время перерыва, балагурия
и дожевав последний бутерброд,
расскажет прокурор на перекуре
коллеге-адвокату анекдот.

Хозяйственный закончив разговор,
судья вернет всех в зал, гримасу сменит,
очки для чтения старательно наденет
и зачитает смертный приговор.

А обвиняемый — точнее, приговоренный —
сумеет в паутине отыскать
живую муху, улыбнется облегченно,
дотянется — и выпустит летать.

* * *

Не люблю глаголы прошедшего времени.
И только и делаю, что ковыряюсь в памяти —
вытаскиваю из-под завалов, в панике
трясу за плечи, бью по щекам, обратиться пытаюсь по имени,
не могу вспомнить, зарифмовываю то, что в активе...
А вот чтобы уснуть — о себе, но давно уже в конъюнктиве,
напрочь вытеснившем футурум.
На смех курам,
но ежели монотонно и длительно,
бывает, что помогает. Повелительное —
для работы: «не двигайтесь», «постарайтесь
расслабиться», «дышите ровно, не напрягайтесь».

Спрессовалось все, все специализировалось.
Настоящее редуцировалось
до простых «боюсь», «тороплюсь», «болит».
Впрочем, язык до конца забыть его не велит
и вытаскивает исподтишка
для стишка.

* * *

На солнце пятна, меркнет свет,
и, вероятно, шансов нет,
и всем привет, но ты, пожалуйста, не кисни!
Мир для активных дураков,
но и среди борщевиков
нет-нет, а встретится, глядишь, тысячелистник.

Он много тоньше, чем они,
он много меньше, чем они,
но дождь пройдет, и он хлебнет и встрепенется.
Тогда взгляни ему в глаза:
в любом глазу его — слеза,
но он в ответ тебе сквозь слезы улыбнется.

Ты улыбнись ему в ответ,
и свет ухватится за свет,
и дуракова карта вдруг да будет бита.
И, может, шанс вернется вновь,
что злобу вылечит любовь
и у земли слегка изменится орбита.

* * *

А слезы и в былые времена
весьма неглубоко во мне лежали:
чуть что — и задрожали, побежали,
и, кажется, душа уже видна,
кусающая нижнюю губу,
изгрызшая до основания ногти,
скулящая на одинокой ноте,
несовременная, как марабу,
дрожащая от фрикативных «г»,
от «р» рокочущих, от сложенного слога,
и от Ван Гога первого ожога,
и от пыльцы у пчелки на ноге,
от тверди, раскаленной добела,
и от луны, горящей вполнакала.

И лишь беда слезу не извлекала.
Беда сухой, как правило, была.

* * *

Не тронешь бабочку, не повредив пыльцу, —
а ты за слово грубыми руками!
Но воз и ныне там, как предрекали.
Лишь время паутиной по лицу
и патиной. Не вынесешь за скобки,
не разменяешь в кассе по рублю.
И поделом! Не предавайся скорби
с оглядкою: красиво ли скорблю?

* * *

И вблизи я, как вдалеке,
без тебя по тебе голодаю.
Я стремлюсь, как приток к реке,
и, достигнув, в тебя впадаю.

Пахнет паюсной злой бедой.
В жабрах сушь и в гортани пена.
Я сливаюсь с твоей водой
и отдышиваюсь постепенно.

БЕЗ НАЗВАНЬЯ

1

Как подыскать тебе название?
 Тебе — болящее, живое,
 где половое созревание
 рулит бодливой головою
 и прочими частями тела
 и разом сносит разум куций.
 Где подозрения Отелло
 и сотрясения от поллюций.
 Где страсти властны над тобою,
 а ты разорван и раздвоен.
 Где жажда подвигов и боя,
 а ты не сильный и не воин.
 Где мысли мечутся и мчатся,
 страдания сладостны и любви.
 Где, пересохшие, так часто
 от счастья трескаются губы.
 От счастья чувства без ответа,
 от счастья недоступной ласки.
 От веры больше, чем от ветра
 (а герпес — это для отмазки).

О, как же сладки, а не горьки
 тебе оставшиеся крохи,
 когда воспоминаний корки
 снимаются без свежей крови.
 Под ними розовое что-то —
 зудит скорее, чем болит.
 Чесать охота, ох, охота...
 Но доктор трогать не велит.

2

Июнь. Экзамены сданы, и молодежь
 парною ночью бродит без дрожжей,
 и заряжается, и пузырится
 с зари и до зари вином дешевым.
 Повсюду взвизги, хохот, голоса
 то тут, то там, как пузырьки, всплывают
 и в окна заплывают. Фонари
 сутулые глядят на петушков —
 гормоны в тех веселые клокочут,
 угрями вылезая на лице, —
 на юных курочек в нарядном оперенье.
 При каждой кочет — он чего-то хочет
 и хорохорится. А фонари —
 им, бедным, тоже не до сна, похоже, —
 глядят им вслед горящими глазами
 и молодеют. Все ночные звезды
 попрятались неведомо куда.
 На небе временно горит одна Венера
 огромная, и кажется, уже светает...

* * *

...И вот, глядишь, котел растоплен.
В него горячего подлив,
июль одышлив, и сироплив,
и царственно нетороплив.

Надев фонарное монисто
и запад плавно потушив,
загадочно и маслянисто
он зажигает лак машин.

И тяжек дух, и вязок воздух
с застрявшим привкусом зари.
Всплывают звезды в нем, как звезды,
и голоса, как пузыри.

Фонарь глядит себе под ногу,
из-под земли растут кроты.
И еж идет через дорогу
ожившим сгустком темноты.

* * *

До утра работала ночь-уборщица,
город ежился под дождем от сырости.
Но под утро дождь у ночи закончился.
Крупные трубы на крышах выросли.

Каштаны крупные косятся гордо
на мелкие яблоки по соседству.
Промытое утро промытого города.
Небо хмурое — как будто сердится.

Но только как будто — просто тучи еще не вывезли,
просто лучикам из-за них не вылезти.
Впрочем, ветер уже на волю вырвался —
скоро он лучи эти вызовет

и рассыплет по городу, как рассаду,
и стекла квартир их немедля хватъ!
Птахи толпой на лучи эти сядут
и хором примутся репетировать

под стаккато капель о жесть сарая
что-то ликующее, но не выпренное.
И начнется не просто погода, а представление рая
в декорациях города, для ада выстроенных.

* * *

Дождь передумал ударяться оземь
и обернулся стайкою гусей,
поскольку лето, соскочив с осей,
рассыпалось на черепки. И восемь

нелепых птиц, проделав полукруг,
легли на курс, еще не перелетный.
И плотный воздух стал прозрачным вдруг,
а крона клена сделалась неплотной.

Звал колокол, «Макдональдс» торговал,
там ели бургеры и пили колу.
И школьников крикливых караван
тянулся в школу.

* * *

Что утешает — если все прочесть,
и то, и это, и еще вот это,
узнать, услышать, вовремя учесть, —
конец так называемого света

не сдвинешь, не дождешься милосердия.
И не поймешь ни принцип домино,
ни вопли многодетные соседей,
ни бабочку, влетевшую в окно.

И так же пробуждение от сна
знакомо будет по начальным нотам.
И ты застынешь так же у окна
восторженным печальным идиотом.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>КНИГА ДОРОГ</i>	3
«Задумаюсь и осекусь...»	5
«Исак — как танк. Даже Бог не любит с ним спорить...»	6
«Педадь кручу, под гору мчу. Дорога непрямая...»	8
«Штакетники моего детства...»	9
«Меж горами и трассой, будто в яме...»	10
«Обрывки сна... Обрывки судеб...»	12
«На исходе осени...»	13
«Мне снилась дорога, ее разветвление...»	14
«А помнишь павлопольский лес?...»	16
«О, сей знакомый беззаконный...»	18
«Все вроде сказано — дела-то давние...»	19
«Зарево оседает куда-то за реку...»	20
«В школу — с полотенцем через плечо...»	21
«...А случались деньги — скажем, на Финляндском...»	22
«Как на зубах крошки, но только суше...»	24
Семен Липкин	25
«Будто еще до брода, до родов, до ерунды...»	26
«Дождлся. Дожил. Под дожди...»	27
«А как там в Харькове сейчас?...»	28
«Как глядит в напряжении старый султан на жен...»	30
«...И нарастет назгула вой...»	31
«Сначала ливень лил в экстазе...»	32
<i>КНИГА БЫТИЯ И БЫТА</i>	33
«Эка строг человек!..»	35
«Чужие и мир, и люд...»	36
«Жизнь то ползком в гору, то кувырком с горы...»	37
«У любящих власть есть свои резоны...»	38
«Жил чувак со своею чувихой у самого синего счастья...»	39
«Живешь, осужденный на жизнь условно...»	40
«Замирать от замерзших луж. Прыжками проворными...»	41
«Мальчик на коленях у мамы качается...»	42
«Помню, слали злые вести...»	43
«Мечтать, плетясь домой с базара...»	44

«Небо, видать, пропиталось под грозами...»	45
«Когда жизнь была еще новенькая...»	46
«Как набухают небеса...»	48
«Какие претензии к миру...»	49
«Он плохо спит, зато немного...»	50
«Сперва расползлись в ключья облаков кучи...»	51
«И от окна уже ни шагу...»	52
«Дни как бы летят. Время, если хотите, течет...»	53
«Весна разлилась и стала бескрайнею...»	54
«Те обласканы, те обысканы...»	55
«Лето медлит у переправы...»	56
«А нынче вдруг весна нахальная...»	57
Самолет	58
Осиный дивертисмент	59
Послесказки	60
«А ко второму января...»	62
«Все же давай учиться включать мозги...»	63
«Я знаю, это все простая...»	64
<i>КНИГА ВРЕМЕНИ</i>	65
«Когда я покинул страну и приехал в страну...»	67
«Они познакомились летом...»	68
«Когда мы оба постареем...»	70
«Как эски с отбитыми легкими...»	71
«За полдень, за город, вдоль реки...»	72
«Когда споткнулся в конце тропы я...»	73
Крик	74
«Хорошо помереть в одночасье...»	76
«Ангелы календарь листают...»	77
«Для виселицы — планки. Для смертных — план...»	78
«Ты помнишь, как все началось с родника?...»	79
«Он бежал из лежального детства, из оседлой его черты...»	80
«Римская империя больше не в упадке...»	81
«Аид хранит и мрамор, и гранит...»	82
«А выход есть, и метод прост...»	83
«Когда жена выключает свет...»	86
«С тоской слежу за мухой-однодневкой...»	88
Memento mori	89

Осенний дивертисмент	92
«А с глаз долой — из сердца вон...»	96
«Ну и что, что понарошку...»	97
«И потемнели пыль у ног...»	98
«Ветер, с утра отбуянив, склоняет усталую голову...»	99
«Воздух выдохся, сгустился ночи сок...»	100
«Куда девалась лень и с ней...»	102
«Вот он вертится, мой на бессмертие шанс...»	104

<i>КНИГА ПОДНЕБЕСЬЯ</i>	105
«Вечереет. Углы отчетливей...»	107
«Бог — он, конечно, режиссер от бога...»	108
«Для чего слова „учитель“...»	109
«Воскресный ветер в ударе...»	110
«Как мало-то, в сущности, надо!...»	111
«За окном молчанье снега...»	112
«Смотреть и не оценивать. Смотреть...»	113
«Меж лихими паханами...»	114
«Нам свищут раки и подкручивают ручки настройки...»	115
«Этой ночью шла зачистка...»	116
«Я уже умею считать до двух...»	117
«...И перебив его в последней речи грубо...»	118
«Не люблю глаголы прошедшего времени...»	119
«На солнце пятна, меркнет свет...»	120
«А слезы и в былые времена...»	121
«Не тронешь бабочку, не повредив пыльцу...»	122
«И вблизи я, как вдалеке...»	123
Без названья	124
«...И вот, глядишь, котел растоплен...»	126
«До утра работала ночь-уборщица...»	127
«Дождь передумал ударяться оземь...»	128
«Что утешает — если все прочесть...»	129



Сначала Григорий Певзнер долго жил в Харькове. Потом не очень долго учился далеко от дома, в Ленинграде. Потом снова долго жил и работал в Харькове. Потом собрался в Израиль, но упал с дерева... и оказался в Германии, в Марбурге, где и живет уже 33 года.

В Харькове Гриша работал детским врачом и лечил детей — своих и чужих. Но дети выросли, родители постарели, да и у всех вокруг что-то болело. И в Марбурге Гриша стал лечить уже взрослых.

А когда Гриша был маленький, он рифмовал слово «мороз» со словом «нос». Но потом пришел в студию к известному детскому поэту Вадиму Левину, послушал и решил, что так рифмовать больше не хочет. А поскольку по-другому он не умел, то решил просто не рифмовать. И много лет не рифмовал. Но потом ровесники тоже постарели, и Гриша внезапно обнаружил, что опять рифмует «мороз» и «нос». И ему, как ни стыдно, это нравится.

Вот он за четверть века и нарифмовал две книжки переводов и три книжки стихов. И некоторые из этих стихов разные хорошие люди теперь поют на свою мелодию.

Ну а в эту новую книгу вошли стихи, написанные в 2016–2018 годах.